

Андре Моруа

В ПОИСКАХ
**МАРСЕЛЯ
ПРУСТА**

с использованием малоизвестных материалов



ЛИМБУС ПРЕСС
Санкт-Петербург

*Посвящается госпоже Жерар Мант-Пруст
в знак признательности и почтительной дружбы*

От автора

В конце этого труда читатель найдет список книг, к которым я обращался, но здесь я хочу отметить тех, к кому испытываю чувство особой благодарности. Госпожа Жерар Мант-Пруст, с такой заботой и любовью хранящая бумаги своего дяди, любезно разрешила мне изучить и процитировать переписку Марселя Пруста с родителями, его неизданные записные книжки и тетради. Без ее поддержки и великодушия эта книга не имела бы ни новизны, ни полноты. Среди других исследований этой темы я весьма многим обязан работе Леоны Пьер-Кена, которая остается первейшим источником для любого комментатора Пруста; а также трудам Рамона Фернандеса, Пьера Абраама, Анри Масси, Жоржа Каттауи, Анн-Мари Коше и двум недавним книгам: господ Анри Бонне и Ноэля Мартен-Делиа. О стиле Пруста главное было сказано Жаном Помье и Жаном Мутоном. Для биографической части были особенно ценны воспоминания тех, кто лично знал Марселя Пруста. Мне удалось поговорить о нем с Жаком-Эмилем Бланшем, Даниелем Галеви, Жоржем де Лори, Жаном-Луи Водуайе, Эдмоном Жалу, Анри Бардаком, Жаном де Гэньероном. Я беседовал также с Селестой Альбаре. Господин П.-Л. Ларше показал мне в Илье те места, которые послужили прообразом для пейзажей Комбре. Я весьма благодарен своему собрату, профессору Анри Мондору за школьные сочинения Пруста, написанные им в классе риторики, и господину Альфреду Дюпону за многие неизданные письма.

Я внимательно прочитал воспоминания Элизабет де Грамон, княгини Бибеско, Мари Шейкевич, Робера Дрейфуса, Фернана Грета и многочисленные тома *Переписки*. Господин Гастон Галимар великодушно разрешил мне привести отрывки из “Поисков утраченного времени”, необходимые для пояснения и иллюстрирования моего текста. Господин Жак Сюфель со своей обычной предупредительностью облегчил мне поиски в Национальной Библиотеке, а моя жена в который раз проявила себя наиболее сведущей помощницей.

А. М.

P. S. Права на все издававшиеся ранее тексты из записных книжек и тетрадей Марселя Пруста, равно как и права на семейные письма, которые были мне любезно предоставлены, принадлежат госпоже Жерар Мант-Пруст. Тексты эти не могут быть ни воспроизведены, ни переведены без ее согласия.

ГЛАВА I

ДЕТСТВО И ПРИЗВАНИЕ

Каков он в двенадцать лет, таким он и останется, не изменившись ни на волос. Манера садиться, брать что-нибудь, поворачивать голову сохраняется у него на всю жизнь.

Ален

История Марселя Пруста – такая, какой ее описывает его книга – это история человека, который нежно любил мир своего детства; который рано испытал потребность сохранить этот мир и красоту некоторых мгновений; который, чувствуя свою слабость, долго хранил надежду не покидать семейный рай, жить с людьми в ладу, смягчать их своей приветливостью; который, испытав суровость жизни и горькую силу страстей, сам стал суровым, подчас жестоким; который, лишившись со смертью матери защиты и покровительства, обрел, однако, убежище в собственной болезни; который, проведя последние годы своей жизни в полузатворничестве, посвятил их тому, чтобы воссоздать это утраченное детство и последовавшие за ним разочарования; который, наконец, претворил обретенное таким образом время в плоть одного из величайших романов всех времен.

1

СКРЕЩЕНИЯ

Вначале был Илье, маленький городок по соседству с Шартром, на рубеже провинций Бос и Перш – временное и сугубо частное средоточие Рая Земного. Там веками жила старинная и добропорядочная семья Прустов, основательно укоренившаяся в том краю. Приезжая в Илье на каникулы, малень-

кий Марсель находил старинное французское селение, древнюю церковь, увенчанную колокольней, богатый язык провинций, таинственный кодекс манер и добродетелей, присущий “французам Святого Андрея-в-Полях”, чьи лица, высеченные в Средние века над церковным порталом и на капителях, и сейчас еще встречаются – в точности такие же – на порогах лавок, на рынках и в полях.

На протяжении веков Прусты из Илье испытали немало поворотов судьбы. Один из них в 1633 году стал сеньериальным сборщиком податей за сумму в десять тысяч пятьсот турецких ливров, которую он обязался ежегодно выплачивать маркизу д’Илье и “всякий год ставить свечу во храме Божьей Матери Шартрской на праздник Сретенья Господня”. Некоторые из его потомков стали купцами, другие земледельцами, но род неизменно хранил связи с Церковью, и в начале девятнадцатого века один из Прустов, дед нашего, завел в Илье свечное производство. Там, на старинной улице Белого Коня и сейчас еще можно увидеть дверь дома, в котором родился отец Марсея Пруста – жилища безыскусного и сурового, чьи ступени из песчаника кажутся “высеченной в камне вереницей готических фигур, словно резчик хотел изобразить сцену Рождества или Распятия”.

В этом доме родились двое детей – сын Адриен и дочь, вышедшая замуж за Жюля Амио, самого крупного коммерсанта в Илье. Господин Амио держал на площади магазин модных товаров, “куда заглядывали перед мессой, окунаясь в добрый запах сурового полотна”. Тетушке Амио после многих заклинаний предстояло впоследствии превратиться для своего племянника, да и для целого света, в тетушку Леонию. Ее дом, очень простой, расположенный на улице Святого Духа, имеет, как и в романе, два входа: переднюю дверь, через которую Франсуаза ходила в бакалейную лавку Камю, и напротив которой помещался дом госпожи Гупий, той самой, что в своем шелковом платье “вымокла до нитки”, идя к вечерне, и заднюю, выходящую в крошечный садик, где ве-

черами, сидя под большим каштаном, Прусты и Амио слышали либо глухое, железистое и визгливое бряканье бубенца для своих, входивших “без звонка”, либо двойное робкое позванивание – золотистое и округлое – колокольчика для посторонних.

Адриен Пруст, отец нашего Пруста, первым в своем роду покинул Бос. Его отец, свечной фабрикант, прочил его в священники. Он стал стипендиатом в Шартрском коллеже^{*)}, но вскоре отказался от семинарии и, не теряя веры, решил учиться на врача. Он продолжил учебу в Париже, работал интерном в нескольких больницах, затем возглавил клинику. Это был красивый мужчина, представительный и добрый. В 1870 году он повстречал девушку с тонкими чертами лица и бархатными глазами, Жанну Вейль, полюбил ее и женился.

Жанна Вейль принадлежала к состоятельной еврейской семье выходцев из Лотарингии. Ее отец, Натте Вейль, был биржевым маклером; ее дядя, Луи Вейль, старый холостяк, владел в Отёе, на улице Лафонтен, большим домом с садом, служившим в те времена дачей, куда его племянница и удалилась, чтобы 10 июля 1871 года произвести на свет своего старшего сына Марсея. Беременность госпожи Пруст, совпавшая с осадой Парижа и Коммуной, протекала нелегко. Это и побудило ее обосноваться у своего дяди, “в деревне Отёй”. Пруст на всю жизнь сохранил тесные связи с семьей своей матери. Пока ему позволяло здоровье, он каждый год ходил на могилу своего прадеда Вейля^{*}: “не осталось больше никого, – писал он с грустью в конце жизни, – включая даже меня, потому что я не могу встать, – кто сходил бы на маленькое еврейское кладбище, куда мой дед, следуя ритуалу, который ему самому всегда был непонятен, каждый год ходил класть камешек на могилу своих родителей...”

^{*)} Коллеж – общее название для французских средних учебных заведений. (Звездочками со скобкой обозначены примечания переводчика.)

^{*} Барух Вейль (см. именной указатель).

Именно в материнской семье Пруст познакомился с нравами и характером французской буржуазии еврейского происхождения, которую позже изобразит – то беспощадно, то с нежностью. Унаследовал ли он сам ее физические и нравственные черты? Многим из тех, кто его знал и впоследствии описывал, на ум приходил Восток. Поль Дежарден видел в нем “юного восточного принца с огромными газельими глазами”; по словам госпожи де Грамон “его лицо стало откровенно ассирийским, когда он отпустил бороду”; Баррес пишет: “Пруст! Арабский сказочник под пологом шатра. Ему не важна канва, которую он расцвечивает своими арабесками, все становится похожим на цветы и плоды, украшающие коробки с рахат-лукумом”. Дени Сора обнаруживает у него стиль Талмуда, “длинные замысловатые фразы, отягощенные вводными предложениями”, а американский литературовед Эдмунд Вильсон – “способность к праведному апокалиптическому негодованию, свойственную еврейским пророкам”.

Подобные точки зрения Пруст сам будет поощрять, придавая большое значение вопросам наследственности; он покажет нам, как в его литературных героях-евреях, даже наиболее светских и деликатных, в определенный момент их жизни вдруг пробуждается пророк, и опишет Блока, входящего в салон госпожи де Вильпаризи так, “словно он явился из пустыни... склонив голову набок, столь же диковинный и живописный, несмотря на свой европейский костюм, как какой-нибудь иудей кисти Декана”. Но в воссоздании характера писателя по нескольким слишком простым данным всегда присутствует произвол. Всякий художник столь многогранен, что предвзятый критик не преминет отыскать в нем то, что ищет. Если бы Баррес не знал о полуеврейском происхождении Пруста, а основывался единственно на его книгах, то сумел ли бы он его там обнаружить? Если и было в Прусте нечто от арабского сказочника (что спорно), то не потому ли, что он просто много раз и с восхищением читал “Тысячу и

одну ночь”? И разве самого Барреса, лотарингского принца, Андре Жид не упрекал за избыток ориентализма?

То, что Пруст занимает место в ряду самых ярких представителей западноевропейской и французской литературы, невозможно отрицать. Воспитанный на классическом французском, он писал и говорил на своем собственном языке, омоложенном и усиленном наречием босских крестьян. Госпожа де Севинье и Франсуаза гораздо больше способствовали формированию его стиля, нежели Талмуд, который он отродясь не читал. Зато есть основания сблизить Пруста, как это сделал Тибоде, с Монтенем, чья мать тоже была еврейкой. У обоих проявляется “некое всеобъемлющее любопытство, склонность к блужданию мысли и к образам движения. Форма, внешняя оболочка вещей, для них лишь видимость, которую им надо преодолеть в поисках внутреннего движения, остановленного или выражаемого ею... Монтень, Пруст, Бергсон вносят в нашу богатую и сложную литературу то, что можно было бы назвать франко-семитской *сдвоенностью*...”

Тут важно не то, что эта сдвоенность франко-семитская, а то, что это *сдвоенность*. В литературе, как и в генетике, скрещивание идет на пользу. Оно придает уму гибкость, давая ему повод для сравнения. Принадлежность одновременно к еврейской семье и к семье католической дает романисту шанс лучше понять и ту и другую. Прусту, светскому человеку, было дано, “благодаря тому, что он унаследовал в силу своего происхождения, увидеть истину, еще скрытую от прочих светских людей”. Андре Жид отмечал, что именно из среды “плодов скрещивания, в которых сосуществуют и развиваются, взаимно усиливаясь, противоречивые потребности, выходят арбитры и творцы”. Те, кого толкают в этом направлении все порывы их натуры, становятся людьми убеждения. Те, в ком обитает, с самого их рождения, некий внутренний конфликт, ведут необычайно богатую и кипучую интеллектуальную жизнь.

Такая двойственность происхождения вначале нередко порождает природный агностицизм. Хотя Марсель Пруст был

воспитан в лоне католической религии, а все его творчество можно было бы определить как долгое усилие ради достижения некоей особой формы мистицизма, все же не кажется, что он когда-либо был верующим. Один из его редких текстов, где он оказывает некоторое доверие идее бессмертия души, относится к смерти Бергота и оканчивается вопросом, а вовсе не утверждением. Он хотел бы верить: “Все те, кого мы покинули, кого покинем – разве не было бы утешительно вновь обрести их под иными небесами, в долинах, напрасно обетованных и тщетно ожидаемых? И осуществиться, наконец!..” Но “...желать чего-либо вовсе не значит верить в это, увь, наоборот!..” В его *Записных книжках* читаем:

“Я сожалею, что вступил здесь в противоречие с восхитительным философом, великим Бергсоном. И к моим разногласиям добавляется следующее: господин Бергсон утверждает, что сознание превосходит тело и распространяется за его пределы; и, конечно, в том смысле, что о философах вспоминают, думают и т. д., это очевидно. Но господин Бергсон понимает это иначе. Согласно ему, душа, распространяясь за пределы мозга, может и должна его пережить. Однако любое сотрясение мозга искажает наше сознание; заурядный обморок уничтожает его. Как же поверить, что оно останется существовать после смерти?...” *

Но если Пруст и не принадлежал к тем, кто, по словам Мориака, знает, что есть истина, он с самого детства остро чувствовал красоту церквей и поэзию религиозных церемоний. Вместе со своим братом Робером он ходил в церковь Илье, чтобы положить цветы боярышника на алтарь Пресвятой Девы, и именно тогда зародилась его великая любовь к этому “прелестному и католическому кустарнику”. Позже, всякий раз, когда он видел кусты этих кокетливых и благочестивых цветов, ему чудилось, что его снова окружает “атмосфера былого мая – Марииного месяца, воскресного дня,

* Неизданный текст из собрания госпожи Мант-Пруст.

веры, забытых ошибок...” Его мать отказалась креститься, и всю свою жизнь была упрямо и гордо привязана если не к иудейской религии, то, по крайней мере, к иудейской традиции, но его отец был католиком, соблюдал церковные обряды и чтит христианские добродетели. Если Марсель и порицал антисемитизм некоторых священников, читателей “Свободного слова”^{*)}, то антиклерикализм отвращал его не меньше; он был возмущен, когда в мирской школе Илье перестали приглашать кюре к распределению наград за успеваемость:

“Учеников приучают относиться к тем, кто посещает кюре, как к людям, с которыми не надо знаться, пытаясь как с этой стороны, так и с другой, сделать две Франции, и я, помнящий этот городишко, весь склоненный к скудной земле, матери скупости, где единственный порыв к небу, часто покрытому облаками, но часто также божественно-голубому и ежевечерне преображенному босским закатом, где единственный порыв к небу – это все еще устремленная ввысь прелестная церковная колокольня, я, помнящий кюре, который обучил меня латыни и названиям цветов в своем саду, особенно я, знающий образ мыслей отцова зятя, местного приспешника антиклерикалов, который со времени декретов перестал здороваться со священником и читает “Непримиримого”^{**)}, а после дела Дрейфуса добавил сюда “Свободное слово”, я полагаю, что нехорошо, когда на распределение наград больше не приглашают старого кюре, представляющего в городке нечто более сложное для определения, нежели Общественный Строй, символизируемый фармацевтом, отставным инженером табачно-спичечной промышленности и оптиком, но все же достаточно уважаемого – не за разумность ли прелестной, одухотворенной колокольни, устремленной в закат и тающей в розовых облаках с такой любовью, и в которой, однако, первый же взгляд новоприбывшего в городок видит боль-

^{*)} “Свободное слово” (“Parole libre”) – газета националистического толка.

^{**)} “Непримиримый” (“L’Intransigeant”) – газета националистического толка, основанная Анри Рошфором (1830–1913), известного своими нападениями на режим Второй империи, который в 80-е годы стал противником Республики и основал газету.

ше красоты, больше благородства, больше бескорыстия, больше разумности и, если угодно, больше любви, чем во всех прочих постройках, как бы ни ратовали за них самые недавние законы...”

В 1904 году, в момент отделения Церкви от государства, он написал много прекрасных статей в защиту “убиенных церквей”, и мать одобрила его.

Так что, в собственной семье ему не пришлось быть свидетелем каких-либо религиозных конфликтов. Скорее уж он наблюдал там такие примеры совершенного согласия и доброты, что был обезоружен ими на всю жизнь. Быть может, ребенку опасно жить в атмосфере слишком мягких чувств, сердце от этого не закаляется. Марсель Пруст страдал от невозможности вновь обрести где-либо в ином месте столь же теплое и нежное прибежище любви, которое давали ему мать и бабушка. Будучи воспитан в среде, где улавливались малейшие оттенки чувств, он приобрел деликатность, доброжелательность, утонченную чувствительность, но также и своеобразную способность страдать, едва лишь к нему самому переставали относиться с той же предупредительной нежностью, а также боязнь задеть, причинить боль, что в жизненных битвах станет его слабостью.

Его бабушка и мать были женщинами образованными, постоянно читавшими классику. Их речь украшали и обогащали цитаты из Расина, из госпожи де Севинье. Существует тетрадь, куда госпожа Адриен Пруст по ходу чтения заносила изящным наклонным почерком понравившиеся ей фразы, которые втайне коллекционировала. “Мама прячет свои цитаты из эгоизма в отношении близких”, – скажет Пруст, а в письме к Монтескью напишет: “Вы не знаете Маму. Ее крайняя скромность почти от всех скрывает ее крайнее превосходство... Перед людьми, которыми она восхищается – а вами она восхищается бесконечно – эта чрезмерная скромность оборачивается полным сокрытием достоинств, несравненность которых известна почти лишь мне одному. Что же касается

бесперывного самопожертвования, которым стала ее жизнь, то это самая трогательная вещь на свете...”

Избранные госпожой Пруст цитаты избочличают вкус к тонкой формулировке и некоторую меланхоличную покорность судьбе. Во многих говорится о боли расставания и разлуки. Ее письма свидетельствуют об изяществе собственного слога. В ней угадываются в потенции многие черты Марсея и почти все черты матери Рассказчика. Люсьен Доде отметил сходство между матерью и сыном: “То же продолговатое и полное лицо, тот же беззвучный смех, если она находила что-либо забавным, то же внимание к любому обращенному к ней слову, внимание, которое у Марсея из-за его отсутствующего вида можно было принять за рассеянность, и что, напротив, было сосредоточенностью”.

“Что ты хочешь к Новому году? – спрашивала мать у Марсея.

- Подари мне свою любовь, – отвечал он.

- Но, дурачок, она ведь и так уже у тебя есть. Я спрашиваю, какую вещь ты хочешь...”

Ах! До чего он любил слышать, как она его зовет: “Золотинка моя, глупыш мой”, и в письмах: “Мой бедный волчок”.

Что касается бабушки с материнской стороны, ставшей привычной спутницей своего внука и бравшей на себя заботу отвозить его к морю, то она очень хорошо знакома нам из романа – обаятельная и пылкая, с наслаждением подставляющая лицо дождю, обходя сад широким шагом, любившая природу, колокольню Святого Илария и гениальные произведения, потому что их объединяло то же отсутствие пошлости, претенциозности и мелочности, которое она ставила превыше всего. В Илье над ней немного посмеивались, хотя всегда по-доброму, и находили ее малость “чокнутой”, потому что она была так непохожа на других, но какое ей было до этого дело? “Она была смиренна сердцем и так кротка, что ее нежность к другим и то малое значение, которое она придавала собствен-

ной персоне и собственным страданиям, сочетались в ее взгляде с улыбкой, где ирония предназначалась лишь ей самой, а ее близким – словно поцелуй ее глаз, которые не могли видеть тех, кого она лелеяла, не лаская пылко взглядом...”

Таким образом, среда, в которой рос ребенок, была по существу “культурной средой”. Это была не просто мелкая буржуазия – по своим ильберским корням, и не просто крупная – благодаря преуспеянию его родителей, что ничего не значит и сочетается в иных семьях с сомнительной вульгарностью, но “нечто вроде естественной аристократии, без титулов... где общественные притязания оправданы всем обиходом наилучших традиций”. Доктор Адриен Пруст привносил серьезность, научный дух, который унаследует и Марсель; мать добавляла любовь к литературе, деликатный юмор. Именно она первой сформировала ум и вкус своего сына.

“Она была уверена, что имеет четкое представление о совершенстве и может отличить, когда другие более-менее к нему приближаются – это касалось того, как готовить некоторые блюда, играть сонаты Бетховена и радушно принимать гостей. Впрочем, для этих трех вещей оно заключалось в одном и том же: в своего рода простоте средств, строгости и обаянии. Ей претило, когда пряности добавляли в кушанья, которые этого не требовали безусловно, когда играли аффективно и злоупотребляли педалью, когда, “принимая”, выходили за рамки совершенной естественности и слишком много говорили о себе. Она утверждала, что по первому же кусочку, по первым нотам, по простому приглашению понимает, имеет ли дело с умелой кухаркой, настоящим музыкантом, хорошо воспитанной женщиной. “Будь у нее даже больше пальцев, чем у меня, ей все равно не хватает вкуса. Играть с такой напыщенностью столь простое *анданте*...” – “Может, она и блестящая женщина, и исполнена всяческих достоинств, но говорить о себе при таких обстоятельствах – это недостаток такта”. – “Может, она и опытная кухарка, но готовить бифштекс с картошкой не умеет”.

Таковыми же будут и представления самого Пруста о стиле.

Очень важно подчеркнуть, что эта семья была трогательно единодушна, и что традиционная мораль никогда не подвергалась сомнению. Трагедия, которой обернется для Марселя открытие мира и себя самого, объясняется резким контрастом между суровой, порой отталкивающей реальностью и тем, чем была для него семейная жизнь, защищенная добротой его матери и бабушки, их душевным благородством и нравственными принципами. Эти две женщины наверняка обожали и баловали хрупкого ребенка, чей склад ума так походил на их собственный. Что касается самого Марселя, то его ответы на вопросы, заданные в альбоме Антуанетты Феликс-Фор (впоследствии госпожи Берж), которые он написал в тринадцать лет, дают неплохое представление о его мыслях и чувствах в ту пору. Я приведу их, строго следуя оригинальному тексту, так как прежде их всегда удивительным образом урезали и искажали:

“Что для вас высшая степень несчастья?” – Быть разлученным с Мамой.

– Где бы вы предпочли жить?” – В Идеальной стране, или, скорее, в стране моего идеала.

– Ваш идеал земного счастья?” – Жить рядом с теми, кого я люблю, с волшебством природы, со множеством книг и партитур, и с каким-нибудь французским театром неподалеку.

– К каким недостаткам вы снисходительнее всего?” – К частной жизни гениев.

– Ваши любимые литературные герои?” – Романтические, поэтические, те, что являются скорее идеалом, нежели примером для подражания.

– Ваш любимей исторический персонаж?” – Нечто среднее между Сократом, Периклом, Магометом, Мюссе, Плинием Младшим, Огюстеном Тьерри.

– Ваши любимые героини в реальной жизни?” – Гениальная женщина, которая живет как вполне обыкновенная.

– Ваши любимые вымышленные героини?” – Те, которые больше, чем просто женщины, но не выходят при этом за пределы своего пола; все, что есть нежного, поэтического, чистого, прекрасного, во всех жанрах.

- *Ваш любимый художник?* - Месонье.
- *Ваш любимый музыкант?* - Моцарт.
- *Какое качество вы цените в мужчине?* - Ум, нравственное чувство.
- *Какое качество вы цените в женщине?* - Мягкость, естественность, ум.
- *Какую добродетель вы цените больше всего?* - Все те, которые не присущи лишь какой-нибудь одной секте, универсальные.
- *Ваше любимое занятие?* - Чтение, мечтание, стихи.
- *Кем бы вы хотели быть?* - Я не задавался этим вопросом, так что предпочитаю не отвечать на него. Тем не менее, я бы весьма хотел быть Плинием Младшим”.

Доктор (позже профессор) Пруст так же, как и его жена, питал уважение к семейным обязанностям, но больше нее жил в мире. За последние годы девятнадцатого века он с бодрым достоинством поднялся по ступеням служебной лестницы и стал инспектором французской Гигиенической службы - владыкой “санитарного кордона” во время эпидемий; представлял Францию на многих международных конференциях и числился кандидатом в Академию, чему мы обязаны великолепными беседами с господином де Норпуа. Он был не прочь, чтобы с Марселем обходились поостроже, дабы лучше подготовить его к самостоятельной жизни, но быстро обнаружил, что если младший его сын, Робер, рос мальчиком крепким и веселым, то старший страдал таким нервным беспокойством, что любое наказание, любой упрек вызывали у него опасный припадок.

Мы находим в “Сване” описание сцены, которая наверняка произошла в детстве с самим Марселем, однажды вечером, когда его мать, принимая гостей за ужином, не смогла прийти к нему в комнату, чтобы поцеловать на ночь. В отчаянии, “словно любовник, который чувствует, что его возлюбленная веселится там, где ему нельзя быть с нею”, он не смог противиться желанию во что бы то ни стало поцеловать мать, когда та отправится в свою спальню. Непослушание вызвало гнев

родителей, но малыш, казалось, был в таком горе, и так рыдал, что отец сжалился первым и заявил: “Так ты его до болезни доведешь, чего доброго. У него в комнате две кровати, ляг сегодня рядом...” Этот случай стал, как на то указывал сам Пруст, поворотным в его жизни, потому что он тогда впервые познал любовную тоску, а еще потому что в тот вечер матери пришлось отказаться от своего намерения быть твердой. Невротический уход в себя, который мало-помалу заставит его отгородиться от общественной жизни и сделает из него одновременно “великого больного” и великого писателя, начался именно той комбрейской ночью.

2

ДЕКОРАЦИИ ДЕТСТВА

Детство Пруста проходит в четырех декорациях, которые, преобразенные и переплавленные его искусством, стали нам хорошо знакомы. Первая – это Париж, где он жил со своими родителями, в солидном буржуазном доме № 9 на бульваре Мальзерб. После полудня его водили на Елисейские поля, где, рядом с деревянными лошадками и купами лавровых деревьев, по ту сторону “границы, которую охраняют, расставленные через равные промежутки, бастионы продавцов ячменного сахара”, он играл вместе со стайкой девочек, которым предстояло, слившись в одно лицо, стать Жильбертой. То были: Мари и Нелли де Бенардаки, Габриель Шварц и Жанна Пуке (позже, много позже: княгиня Радзивилл, графиня де Контад, госпожа Л.-Л. Клотц и госпожа Гастон де Кайаве).

Вторая декорация – это Илье, где семья проводила каникулы у тети Амио, в доме № 4 по улице Святого Духа. Какое счастье – едва сойдя с поезда, добежать до Луары, вновь увидеть, в зависимости от времени года, цветущий боярышник или лютики на Пасху, маки и хлеба летом, и всегда – старую церковь под аспидным клобуком, усыпанным воронами, – овчарку, стерегущую стадо домов. Как ему нравилось в своей

комнате, где длинные белые занавеси укрывали от взоров кровать, одеяло в цветочек, вышитые покрывала. Он любил вновь находить рядом с постелью “троицу” из стакана с синим рисунком, сахарницы и графина; на камине – стеклянный колпак, под которым тикали часы; на стене – образ Спасителя и ветки самшита, освященные в Вербное воскресенье. Но больше всего он ценил долгие дни, проведенные за чтением на Кателанском лугу – в маленьком парке, окрещенном так его владельцем, дядюшкой Амио.*) В зарослях этого сада, расположенного на другом берегу Луары и окруженного прекрасной живой изгородью из кустов боярышника, в беседке, что существует и поныне, Марсель наслаждался глубокой тишиной, нарушаемой лишь золотым звоном колоколов. Там он читал Жорж Санд, Виктора Гюго, Чарльза Диккенса, Джордж Элиот и Бальзака. “Быть может, из всех дней нашего детства наиболее полно были прожиты те, которые мы даже не заметили, проведя их вместе с любимой книгой...”

Остальные две декорации дополнительные. Был дом дяди Вейля в Отёе, где “парижане” укрывались в знойные дни, и который тоже дал несколько штрихов для комбрейского сада. Сам Луи Вейль был старый холостяк, чьи откровенно вольные нравы шокировали консервативную семью Марселя. Порой ребенок встречал у него красивых женщин, которые его ласкали, например, Лору Эйман, элегантную даму полусвета, чьим предком был английский художник Гейнсборо; от нее взяты некоторые первоначальные клетки Одетты де Креси. Наконец, какую-то часть лета Марсель проводил с бабушкой на одном из ламаншских курортов, в Трувиле или в Дьеппе, а позже – в Кабуре. Так родился Бальбек. В альбоме госпожи Адриен Пруст читаем: *“Письмо моего малы-*

*) Видимо, по аналогии с Булонским лесом в Париже: Кателанский луг (названный так по имени некоего трубадура, якобы убитого там во времена короля Филиппа Красивого) находится в самом центре парка; в те времена был местом увеселений с киосками, павильонами, рестораном, кукольным театром, но также с *читальным залом*.

ша Марселя. Кабур, 9 сентября 1891 года: “Как это не похоже на то время у моря, когда мы с Бабушкой, слитые воедино, шли против ветра и беседовали!..” Слитые воедино... Никогда мальчик не был сильнее *слит* с благоговеино любимой семьей.

“Благодаря чуду нежности, которое в каждом из ее помыслов, побуждений, слов, улыбок, взглядов заключало и мою мысль, между бабушкой и мной, казалось, существовало какое-то особое, предопределенное согласие, которое делало из меня нечто настолько принадлежащее ей – ее внука, а из нее принадлежащее мне – мою бабушку, что, если бы нам предложили заменить одного из нас гениальнейшей женщиной или святым – самым великим от сотворения мира и до скончания веков, мы бы только улыбнулись, прекрасно зная, что каждый из нас предпочел бы наихудший порок другого всем добродетелям остального человечества...”

Можно найти удовольствие в паломничестве по местам, послужившим обрамлением или моделью для шедевра, искать в Сомюре или Геранде то, что там видел Бальзак, в Комбуре – тихие семейные вечера, запечатленные Шатобрианом, в Илье – майский боярышник и камыши Вивонны. Но подобные сличения, вместо того, чтобы воссоздать дивные картины, сотворенные магией писателя, скорее покажут нам огромное расстояние, отделяющее оригинал от произведения искусства: “Если бы понадобилось доказать, что нет *единой* вселенной, но существует столько же вселенных, сколько и личностей, которые все различаются между собой, то есть ли лучшее доказательство, нежели тот факт, что, приметив у какого-нибудь коллекционера амбар, церковь, ферму, дерево, мы говорим себе: “Да ведь это Эльстир!”, и таким образом узнаем столько фрагментов этого мира, сколько видит Эльстир, и видит лишь он один...” Так и Пруст видел прустовские картины во всех пейзажах своего детства, и, подобно тому как Ренуар обволакивал любую плоть радугой своей

палитры, Марсель развешивал прекрасные гирлянды редкостных прилагательных как на деревьях Боса, так и на деревьях Елисейских полей. Но эта красота – его собственная, и те, кто видят в природе лишь то, чем она является, наверняка будут сильно разочарованы, попытавшись обнаружить там нежные переливы и бархат его эпитетов.

Он сам говорил, что читателей разочаровало бы посещение мест, показавшихся им чудесными у Метерлинка и Анны де Ноай: “Нам бы хотелось пойти взглянуть на поле, которое Милле (поскольку художники учат нас подобно поэтам) показывает в своих “Веснах”; нам бы хотелось, чтобы Клод Моне отвел нас в Живерни, на берег Сены, к той речной излучине, которую он едва позволяет разглядеть сквозь утренний туман. Однако в действительности лишь простые случайности, обусловленные знакомствами или родством, побудили госпожу де Ноай, Метерлинка, Милле, дав им повод проходить мимо или гостить неподалеку, выбрать для изображения именно эту дорогу, этот сад, это поле, эту речную излучину, а не какие-нибудь другие...” Зачарованный парк, который описывает Пруст, и где он читал, сидя в беседке, невидимой от белых ворот, обозначавших “конец парка”, за которыми простиралась поля васильков и маков, – это не только Каталанский луг в Илье, этот сад мы все знали и все утратили, потому что существовал он лишь в нашей юности и в нашем воображении.

3

БОЛЕЗНЬ И ГЕНИЙ

Марселю Прусту было девять лет, когда в его детской жизни произошло важное – или, как бы он сам потом сказал: *наиважнейшее* событие. Однажды с ним случился такой сильный приступ удушья (астмы или сенной лихорадки), что впоследствии ему пришлось ежегодно, каждой весной, отказываться от любого соприкосновения с природой. Отныне он станет больным человеком, живущим в беспрестанном страхе

перед новым приступом. Сегодня признано, что астма и сенная лихорадка часто вызываются сильными эмоциями и связаны с нездоровой потребностью в нежности. Многие астматики в детстве страдали либо от избытка, либо от недостатка материнской любви, что приводило их к полной зависимости от своей матери или вынуждало цепляться за другую опору: мужа, жену, родителей, друга, врача. На самом деле удушье – призыв. Похоже, Марсель Пруст был живым подтверждением этой теории. Мы знаем, какая тревога охватывала его, стоило лишь матери отдалиться. Он на всю жизнь останется существом, остро чувствующим свою зависимость от других. Он будет нуждаться в том, чтобы его любили, хвалили, желали. И ощущение безопасности ему сможет дать лишь изрядный запас любви и нежности.

Здесь истоки некоторых черт его характера. Он старается понравиться окружающим, думает о надобностях и желаниях других людей, заваливает их подарками. Он хочет соответствовать сложившемуся о нем представлению и изводит себя, если ему это не удастся. До самой смерти родителей он будет страдать от того, что не оправдал их ожиданий, а после их смерти станет загонять себя работой в могилу. У него никогда не появится того полного безразличия к чужим страданиям и суждениям, которое превращает человека в циника. Он будет несколько чрезмерен в своей любезности и расточении комплиментов, но, поскольку в действительности такая лесть – лишь жажда обрести защиту и покровительство, то в своих сокровенных *Записных книжках* и *Тетрадах* он проявит себя безжалостным критиком, так что переизбыток нежности путем любопытной трансмутации будет порой оборачиваться у него жестокостью. Чтобы ужиться с этими ужасными животными, человеческими существами, столь непохожими на его мать, он станет скромным, чересчур скромным, вплоть до того, что будет умалять значение всего, что пишет. Он искренне поверит в то, что не может обойтись без чужой помощи. Он будет жаловаться, уверять, что болен, разорен, будет

делая свои страдания, упиваться собственными жалобами, потому что в его представлении избыток несчастий откроет ему кредит симпатии. Он будет спрашивать совета друзей по поводу самых элементарных житейских мелочей: как устроить ужин, продать мебель, послать цветы. Его обычной позицией станет: “Помогите мне, ведь я такой слабый и неловкий...” Наконец, любовь и дружба навсегда останутся для него самыми важными вещами на свете, потому что всю первую половину своей жизни он смог прожить, лишь чувствуя себя любимым. Малейшая боязнь охлаждения сделает его подозрительным, способным на изощреннейший анализ.

КОНЕЦ ОЗНАКОМИТЕЛЬНОГО ФРАГМЕНТА